



Валентин НЕПОМНЯЩИЙ

Под небом голубым

«Пророк» и его автор. К истории отношений



XI
В черновом продолжении «Воспоминания» появляются, как известно,

...два призрака молодые,
Две тени милые, два данные судьбой
Мне ангела во дни былые;
Но оба с крыльями и с пламенным мечом,
И стерегут — и мстят мне оба,
И оба говорят мне «внятным» мертвым языком
О тайнах «вечности» счастья и гроба.

Это не те ангелы, что серафим в «Пророке», и не тот меч. «И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни» (Быт., 3,24).

Но связь с «Пророком» остается. Стихотворение — само как меч, только рассекающий не грудь, а душу; и не сердце трепетное извлекается, а свиток воспоминаний, и его невозможно читать без трепета сердца, отвращения и проклятий.

Если же перевести коллизию «Воспоминания» в житейски-предметный план — получится «Утопленник», позже и написанный.

Мужик каждый год, ночью, когда «буря настает», слышит стук своего покойника — автор «Воспоминания» каждую ночь, «в тишине», но в буре душевной, созерцает свиток своих грехов. Он читает свою жизнь, «трепещи и проклинай» — в «Утопленнике» то же самое: «Так и обмер: «Чтоб ты лопнул!» — прошептал он, задрожав» (чем не проклятие?). Только вот если мужик «окно захлопнул, Гостя голого узнав», то автор «Воспоминания» ничего такого сделать не может: муки совести приходят не извне; и не «Раки черные впились в тело мертвого «гостя», а

...живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья.

(Ср.: «И угль, пылающий огнем. Во грудь отверстую...» и «жало мудрая змея»). Само-суд так нелицеприятен, что акт поэтический тут и в самом деле на грани пророческого — та же беспощадная правда. «Так говорит Господь Бог Израилев: Я помазал тебя в царя над Израилем и Я избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом господина твоего... и дал тебе дом Израилев и Иудин, и... прибавил бы тебе еще больше; зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами его?.. итак не отступил меч от дома твоего...», — так сказал пророк Нафан царю Давиду, согрешившему в «частной жизни» (2 Цар., 12, 7—10) — и тоже пророку. Содержание приведенного обличения должно бы было быть внятно «помазанному» в пророка автору «Пророка». Ведь в «Воспоминании» и в самом деле явно содержится память покаянного Давидова псалма. Можно даже сказать, что все стихотворение содержится в одном стихе этого псалма:

«Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть вина» (всегда; Пс. 50,5).

Связь здесь вовсе не литературная, стихотворение не перефразирует псалом, это не реминисценция — это совпадение душевных ситуаций: у «Воспоминания» тот же внутренний строй, как у покаянного псалма, Пушкин сейчас чувствует то же и так же, как чувствовал кающийся царь и пророк; стихи Пушкина есть давидово покаяние — по силе, глубине и беспощадности.

Сходство огромно — но разница еще больше. Чувствуя, как Давид, автор стихов совсем иначе разумеет свое чувство: его покаяние безысходно. Последний стих:

Но строк печальных не смываю, —

противоречит самому понятию о покаянии и его цели — как ветхозаветному, так и евангельскому.

О последнем стихе были споры: «не смываю» — это что: не хочу смыть или не могу смыть? У каждой из спорящих сторон были вполне убедительные и для поэта лестные резоны, но опору они находили отнюдь не в тексте стихов, а исключительно в личных предпочтениях спорящих; проблема ставилась в чисто психологическом плане и потому была неразрешима, ибо предмет «Воспоминания» — вовсе не психология.

Предмет финала «Воспоминания» — не

(Продолжение.

Начало в №№19-20, 21,22)

смываю», а стало быть, по существу всего стихотворения, является нам лишь на фоне покаянного псалма:

«Наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя... омыеши мя, и паче снега убелюся...» (Пс. 50, 3-4, 9).

И в ветхозаветном, и в христианском понимании, цель и смысл покаяния — очищение, омовение души от греха, которое возможно не самому человеку, но только Богу. Покаяние без такой цели и, следовательно, без молитвы об очищении, просьбы о помощи, — не имеет смысла.

В «Воспоминании» грех не смывается; ни обращения, ни молитвы, ни просто просьбы, ни даже надежды нет: «И горько жалуюсь, и горько слезы лью» — не обращено ни к кому, направлено никуда: в нем самодостаточность безнадежности.

Вопрос не в том, может ли, хочет ли (или не может и не хочет) автор смыть печальные строки своей жизни; автор говорит: «не смываю», — как если бы лишь от него самого зависело смыть или не смыть. Как если бы больше это сделать было некому.

Это значит, что «Воспоминание» есть не сразу явное, но прямое противостояние Давидову псалму: исповедь без адреса и цели, жалоба без надежды, покаяние без молитвы об очищении, слезы без облегчения; псалом в отсутствие Бога, то есть — антипсалом.

Тем самым это и противостояние собственному «Пророку». Взяв из «Пророка» художественный язык для выражения мук совести («...горят во мне Змеи сердечной угрызенья»), автор оставил без внимания само событие «Пророка»: личную встречу его духа и гения с Богом. Слово «Пророк» был всего лишь поэтической фантазией, метафора, реальность чисто художественного, а не духовного опыта (как это часто и понимается); словно никакого события не было и обращаться не к кому: полное одиночество. Это, похоже, как раз тот случай «раздвоения между мыслью и чувством», о котором писал цитированный выше В.Соловьев. «Чувство» (точнее дух и творческий гений) вопиет к Богу Давидовым воплем, а «мысль» (точнее, может быть, душа) этому воплю не внимает, его не слышит, продолжая маяться в одиночку. То ли античный фатализм стоической окраски, то ли предвосхищение принципиального сиротства экзистенциализма.

Снова думаю: тогда, осенью 1826 года, автор «Пророка» испытал, в стихах воплотил могучее наитие Святого Духа, полноту которого душа вместить еще не могла (как это, повторяю, и бывает с настоящими поэтами). Понять было лишь то, что по природе умопостигаемо, а именно — только художественно-философская сторона записанного. Сама же встреча, в качестве реального духовного события, предполагающего некоторые реальные же последствия, была хот и записана, но не постигнута. Да и не могла быть постигнута умственным или даже художественным образом. Она должна была быть не понята умом или прочитана в тексте — она должна была быть явлена в душевном и духовном опыте жизни.

Этот опыт и начался после рождения «Пророка». «Пророк» оказался не констатацией свершившегося (как нам издавна кажется), а пророчеством на будущее: предвещанием душевных и духовных мук, через которые обретается истинное — не в стихах, а в жизни, — посвящение.

Проходя эту инициацию — когда его совесть, подобно Орланду из его перевода, на каждом шагу вперялась в «свой позор», сталкиваясь со зрелищем чудовищного несоответствия жизни и поведения тому, что он постиг о себе в «Пророке», ибо личная жизнь его и поведение оставались такими же, что у всех «детей ничтожных мира» (словно, повторяю, «Пророк» был величественные слова и ничего больше); когда

открывалось его недостойнство в отношениях с любовью, с милыми «теньями» и «призраками», с тьмостью возмеченного в «Пророке» призвания, становящейся невыносимой; когда все это усугублялось страданиями счастливого, избежавшего общесей с политическими заговорщиками участи, взысканного милостью, славой и двусмысленным положением в глазах общества; когда вся прошлая жизнь стала разворачиваться по-новому — под знаком не «судьбы», а совести, и читать ее стало невозможно без отвращения, — проходя этот жестокий иску и неизбежно честно запечатлевая его шаги в своем искусстве, отдает ли он себе отчет в том, что все это и есть те именно муки и та именно боль, которые должен был испытывать преображаемый в «Пророке»? что вот сейчас касаются его ушей, исторгают язык празднословный и лукавый, рассекают мечом трепетную душу? что возросшая жестокость совести — уже и есть дело посвящения? Сознает ли, наконец, что именно в «Воспоминании» — которое не столько покаяние, сколько самоказнь, вопль бесконечной безнадежности, в сущности отчаянная манифестация безверия, — что как раз в этом «антипсалме», именно в нем, божественный глас пушкинского гения впервые прямо и вслух вопрошил своего обладателя о его личном соответствии предназначению такого поэта — поэта, о котором написан «Пророк»? Сознает ли?

И нет, и да. Это как у его Моцарта: сам Моцарт ничего не знает об уме Сальери, дух же Моцарта, его гений знает все — и больше даже, чем сам Сальери. Разница лишь в том, что у нас речь идет не о двух, а об одном и том же человеке. Есть высшее «я» в человеке, которое знает об этом человеке все, в то время как сам он мечется и ничего не понимает. Оно есть в каждом человеке, оно является, оплотняется в совести — и может быть явлено в действии, в том числе в действии творческого гения, который есть печать Святого Духа в человеке; но совесть тоже есть печать Святого Духа в человеке; совесть — это гений каждого человека как образа Божия. Человек знает о себе не все, а его совесть, его гений знают все. Так было в элгии «Под небом голубым...», так было в «Пророке». В терминах Соловьева: «чувство» опережает, «мысль» отстает. От духа отстает душа — так бывает всегда и со всеми; собственно, в стремлении души не отстать совсем и совершается истинная духовная жизнь человека на земле, и стремление это бывает полно мук и чревато драмами.

В «Воспоминании» великая, пророческая духовная жажда — жажда не отстать — соединилась с великим отчаянием души. Отчаянием человека, который своим человеческим разумом полагает, что его ввели в заблуждение: позвали, вознесли — а потом бросили. Как в насмешку. Об Иове «сказал Господь сатане: вот он, в руке твоей, только душу его сбереги» (Иов 2,6), — а тут и душу не жалеют.

В черновом продолжении есть не очень понятные, но очень страшные слова:

Но оба с крыльями (вариант: И оба грозные),
и с пламенным мечом —
И стерегут — и мстят мне оба —
И мертвую любовь питает их (?) огнем
Неумирающая злоба
(Вариант: И мертвую любовь сменила
Неугасающая злоба).

«Мертвую любовь» «питает» (напитывает?) огнем или «сменяет» вечная (неумирающая, неугасающая) злоба! — это до жути напоминает «Русалку», замысел которой не покидает его как раз с 1826 года, года элгии и «Пророка». Но мстящая Русалка и Дочь мельника — уже не одно и то же, это разные существа; точно так же и

«тени милые», «два ангела» не могут «мстить» сами от себя, и не может им самим принадлежать, от них самих исходить «неумирающая» или «неугасающая» («пламенный меч») «злоба»: в грозных мстителях преобращает их (как Дочь мельника в Русалку) чья-то «злоба», злоба внешней, могучей, высшей силы...

И он, раскаиваясь в своих грехах и винах, чувствуя свое недостойнство, как Давид, страдая, как Иов, не следует примеру согрешившего пророка Давида и непорочного человека Иова: не хочет никого ни о чем просить, ни к кому обращаться, ни у кого даже вопрошать, и с каким-то упоением безысходности вперяется в проклятый свиток. Его слезы — сухое рыдание, а жалоб не адресована никому — ибо кому пожаловаться на Бога?

В таком существе, в такой душе, как он, подобное чревато взрывом.

Взрыв происходит спустя неделю, в день рождения. Во всяком случае, именно эта дата, «26 мая 1828», предвещает, в качестве эпиграфа, новое стихотворение.

XII

«ДАР НАПРАСНЫЙ,
ДАР СЛУЧАЙНЫЙ»

Относиться к смыслу этих стихов серьезно давно отвыкли: все, что пишет Пушкин, прекрасно, и это тоже прекрасные стихи, написанные в тяжелый момент жизни; вот, собственно, и все. В советской науке было принято объяснять стихотворение «тягчайшим общественным кризисом, глубокой депрессией передовых кругов» — внешние обстоятельства снова на первом месте. Но от депрессии «общественной» автор стихов был как раз далек, он рвался к деятельности, а конфликт у него был (в частности, по поводу «Стансов») как раз с «передовыми кругами». Да, было тревожащее нервы полтора года дело об элгии «Андрей Шенье», был запрет на выезд в армию на Кавказ и за границу и другие неприятности; но отвергнуть из-за всего этого жизнь — такое, может, и бывает, да только это на Пушкина не похоже.

Правда, и у Пушкина ничего, подобного этому стихотворению, до сих пор не было; был трагизм, были снования, была тоска по смерти — но такой, самоубийственного спокойствия (в котором вопль), декларации отвержения у него больше не встретить. Если «Воспоминание» — «антипсалом», то спустя неделю написан анти-«Пророк». Все происшедшее в «Пророке» переосмыслено в духе отрицания и отвергнуто.

Говорится о случайности и бессмысленности жизни, отсутствии в ней «цели» — после того, как в «Пророке» поэту дана новая природа и возведена цель жизни.

Говорится о «казни» — после преображения плотского естества поэта в «Пророке».

После: «Как труп в пустыне я лежал, и Бога глас ко мне воззвал» — «Кто меня враждебной властью из ничтожества (небытия) — В.Н.) воззвал?»

«Душу мне наполнил страстью, ум сомнением взволновал...», «Сердце пусто», — это в ответ на: «угль, пылающий огнем, Во грудь отверстую водвинул», — и на пожелание:

«Исполнись волею моей».

«Празден ум» — после того, как вырван «празднословный» язык.

«Однозвучный жизни шум» (ср. «Колокольчик однозвучный») отменяет весь тот «шум и звон», в котором «неба содроганье» и «горный ангелов полет».

Наконец, финал «И томит меня тоскою» — прямая антитеза началу «Пророка»: «Духовной жаждою томим».

«Пророк» отвергается «по всем пунктам» подряд, дары, полученные в нем, отвергаются. Как будто это была злая шутка, бытийный подвох. Д. Благой сопостав-

жизни и смерти



лял "Дар напрасный..." с книгой Иова: "...открыл Иов уста свои и проклял день свой. И начал Иов, и сказал: погибни, день, в который я родился, и ночь, в которую сказано: зачался человек!.. Для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева?.. На что дан свет человеку, которого путь закрыт и которого Бог окружил мраком?" (Иов, 3, 1—3, 11, 23). Но автор стихотворения знает, что Иов был праведнейший из людей земли и страдал невинно. У него была чистая совесть, воспоминание не развивало перед ним длинный свиток его жизни, заставляющий трепетать от отвращения. Бог попустил сатане испытать крепость его веры — будет ли она такова же в лишениях, как в достатке и счастье. У автора стихотворения все иначе. Он полжизни считал себя неверующим — а его тоже испытывают; и не отъятием богатства, детей и здоровья, а напротив, дорогим подарком, в котором подsunута отравка (приходят на ум "змеиные" метафоры "Пророка" и "Воспоминания", начатый еще в 1825 году перевод из Шенье о муках Геракла, погибающего в подаренном ему отравленном плаще); его, с его слабой верой и нечистой совестью, испытывают непомерным даром, который сопряжен дару веры, с его воздушной невесомостью и нечеловеческой тяжестью; который сопряжен дару совести, а совесть — это "ведьма, от коей меркнет месяц, и могилы Смушаются и мертвых высылают!" ("Скупой рыцарь") Для чего? — вопиет он как Иов; и как Иона, которому ни за что ни про что велено быть пророком, бежит от лица Господня.

Но "Пророк" уже есть, смыть его строки невозможно: они, как сам дар, слиты с жизнью, они лишь раскрывают задание этой жизни, которое до того было неведомо, лишь смутно предчувствовалось ("Иная, высшая награда Была мне роком суждена — Самолюбивых дум отрада! Мечтанья суетного сна!" — "В.Ф. Раевскому", 1822). Отвергнуть задание, отказаться от послушания, данного в "Пророке", стать беглецом и расстрогой — значит отказать от жизни. В этом смысле "Дар напрасный..." есть посягательство на духовное самоубийство. Внешней формой отвергая жизнь как дар напрасный и случайный, а внутренней формой отрицая "Пророка", оно предвосхищает бунт Ивана Карамазова, возвращающего Богу "билет".

Нет, "Он застрелится, слава Богу, Попробовать не захотел", продолжает роман (VII глава), пишет "Полтаву", ведет светскую жизнь, очередной раз влюблен (мэригал Олениной "Ты и вы" — в промежутке между "Воспоминанием" и стихами о даре напрасном), жизнь идет своим чередом. Но лирика — тоже жизнь, не менее жизнь, она тоже идет, и слово бунта уже сказано.

XIII
И как только оно сказано — тут же, "бездны мрачной на краю", следует при-

ступ великолепной бодрости, радости, жизнелюбия. Восторженный дифирамб "Ее глаза". Короткое стихотворение "Кобылица молодая" — горделивый апофеоз мужественной силы, хозяйской власти над жизнью; ему явно сопутствует набросок "Как быстро в поле, вокруг открытым", который спустя пять лет прорастет в "Осени" (и вот как преобразуется тревоживший его образ несущегося всадника!). И, наконец, открывающее эту трилогию (может быть, сразу после стихов о даре) одно из самых светлых, нежных, радостных стихотворений зрелого Пушкина — "Еще дуют холодные ветры" — про "первую пчелку", летящую "О красной весне поразведать: Скоро ль будет гостя молодая? Скоро ли луга позеленеют?..", — он вдруг полюбил весну!

Бунт совершился, все сказано и выговорено, все названо своими словами, расставлено по местам, все стало ясно — и будто иго свалилось с плеч, и все стало просто и легко. И мир засиял новыми и свежими красками. (Такой опыт будет запечатлен тоже через пять лет, едва ли не одновременно с "Осенью", — когда он будет описывать самочувствие безумца: "И я глядел бы, счастья полн, В пустыне небеса"...).

"Я не Бога не принимаю, пойми ты это, я мира, Им созданного, мира-то Божьего не принимаю и не могу согласиться, принять", — говорит Иван Карамазов, приближаясь к своему "бунту". И — еще раньше, словно подводя под бунт мировоззренческий фундамент: "Жить хочется, и я живу, хотя бы и вопреки логике. Пусть я не верю в порядок вещей (то есть в "мир Божий" — В.Н.), но дороги мне клейкие, распускающиеся весной листочки, дорого голубое небо, дорог иной человек..." — и опять: "Клейкие весенние листочки, голубое небо я люблю, вот что! Тут не ум, не логика, тут чревом любил..."

Любовь к миру вне Бога, к миру не как к Творению, а как к дару случайному, напрасному и потому как-то особенно прекрасному и аппетитному; любовь вне духа, чреватая, в сущности животная, — воспеваются поистине вдохновенно: пусть я не могу посмотреть вверх, не знаю и не хочу знать, что там, — но жить хочется, и я живу и... желуди люблю, вот что!

Так обозначается Достоевским начало пути Ивана к преступлению; и от окончательной духовной гибели Ивана спасает лишь безумие — следствие его "глубокой совести", по мнению Алеши. Словно Алеша Пушкина начался.

Да ведь клейкие-то листочки — и правда из Пушкина! Из стихов о пчелке:

Скоро ль будет гостя молодая?
Скоро ли луга позеленеют?
Скоро ль у кудрявой у березы
Распустятся клейкие листочки,
Расцветет черемуха душиста?

Выходит, у Достоевского почти в точности воспроизведена "структура" духовной катастрофы, пережитой Пушкиным весной 1828 года; воспроизведена не в порядке литературной реминисценции, а как онтологически объективная предпосылка деградации духа, постигшей Ивана, — ибо, очевидно, прожитая и самим Достоевским; воспроизведена с той лишь разницей, что тема "клеяких листочков" у Ивана бунту предшествует (ибо Достоевский демонстрирует, и сознательно, "идеологическую платформу" совершающейся катастрофы), а у Пушкина эта тема следует сразу после "бунта" — не идеологически, а органически и спонтанно, как у "первопроходца", точнее — первой жертвы.

Самое замечательное в этой истории с листочками у Пушкина — то противоречие (или драматическое напряжение, или — контрапункт), которое делает стихотворение о пчелке нежным и ослепительным лучом света в темном царстве.

В ответ на мрачную логику бунта, совершившегося в стихотворении "Дар напрасный...", гению его автора было тут же явлено — в стихах о пчелке — не что иное как образ мира в качестве изумительного, сплошь одушевленного Божьего Творения, в котором всякое дыхание да хвалит Господа; но душа автора, обаятая страстью победившего карамазовского отрицания, даже этот ликующий, увещающий ответ своего гения, эту милосердную подсказку заблудшему, восприняла и истолковала как утешительный итог бунта, его законное следствие и чуть ли не поощрение. Так Сальери, услышав экспромт Моцарта ("Какая глубина! Какая смелость и какая стройность!"), отнюдь не отступает от бунта ("...правды нет — и выше"), а напротив, утверждает в своем мрачном умысле.

То, что все так, подтверждается краткостью этого эйфорического всплеска. Дальше — "Не пой, красавица, при мне", "Предчувствие", "Утопленник", "Ворон к ворону летит" с их уже названными мучи-

тельными мотивами; сухая и какая-то апатичная "лицейская годовщина" ("Усердно помолившись Богу"); и еще — странный эскиз "Уродился я, бедный недоносок, С глупых лет брожу я сиротой..."; тоже ведь своего рода "Дар напрасный...", вопль сиротства. Конечно, тут сразу вспоминается более поздний "Недоносок" Баратынского ("сокрушенное сознание неполноты и бедности сил, происходящее от взгляда на жизнь не шутя"), который предстает едва ли не прямым продолжением пушкинского наброска:

Я из племени духов,
Но не житель Эмпирея,
И едва до облаков
Возлегу, паду, слабею.
Как мне быть? я мал и плох;
Знаю: рай за их волнами,
И ношу, крылатый вздох,
Меж землей и небесами.
...Бедный дух! ничтожный дух!
Дуновенье роковое
Вьет, крутит меня как пух,
Мчит под небо громовое.

И, наконец, группа стихов, осененная образом Клеопатры, продающей свою любовь за жизнь (и несомненно являющейся ипостасью Музы, поэзии, требующей, по словам Батюшкова, "всего человека"): "Портрет" ("С своей пылающей душой"), "Наперник" ("Твоих признаний, жалоб нежных") и "Счастлив, кто избран своею нравно" — три коротких как стон обращения к А.Ф. Закревской, которую Ахматова отнесла к типу "женщин-вамп", "анти-Татьяны". Последнее особенно выразительно звучит на фоне "анти-псалма" "Воспоминания" и "анти-"Пророка" "Дар напрасный, дар случайный": ведь, как говорилось в своем месте этой книги (анализ II главы "Евгения Онегина"), явление Татьяны в романе в известном смысле предваряет явление серафима в "Пророке"...

Так или иначе, восторг после учиненного Богу и жизни разноты быстро проходит, чувство освобожденности и легкости уступает место чувствам мрака, тревоги, вины, гибельного упоения "бездны на краю".

Но еще раньше — и, может быть, именно в момент "гибельного восторга" после бунта — происходит в его жизни одно из самых невероятных "странных сближений".

Едва отзвучал бунт, как его прошлое — отнюдь не в своих "первоначальных, чистых днях" ("Возрождение"), а в несмысленных ("Воспоминание") строках — постучалось к нему в окно как непогребенный покойник. На его бунт ответили.

Не успевают высохнуть чернила, которыми пишется дата "26 мая 1828" над стихотворением "Дар напрасный...", как ровно через день, 28 мая, Серафим, но не шестикрылый, а митрополит Санкт-Петербургский и Новгородский, извещает статс-секретаря Н.Н. Муравьева, что получено "весьма важное на Высочайшее Государя Императора имя прошение с приложенной при нем рукописью, в коей между многими разного, но буйного или сладострастного содержания стихотворениями... помещена поэма под названием Гавриилиада, сочинение Пушкина", исполненная "ужасного нечестия и богохульства".

"И отвечал Господь Иову из бури и ска-



зал: препояшь, как муж, чресла твои: Я буду страшить тебя, а ты отвечай Мне" (Иов, 40, 1—2).

...Все в нем страшно онемело,
Опустились руки вниз...

("Утопленник", кстати, и пишется как раз в это время). И начинается следственное дело о богохульстве семилетней давности.

Современники свидетельствуют, что Пушкин не любил, когда "Гавриилиаду" при нем вспоминали, тем более хвалили. Во время разбирательства стыд был сугубый. Автору стихотворения "Дар напрасный..." пришлось униженно изворачиваться, трижды письменно лгать о своей непричастности к своей поэме (дважды — в официальных ответах следствию, один раз в письме к Вяземскому от 1 сентября, сваливая авторство — в ожидании перлюстрации письма — на покойного и не могущего защитить себя от клеветы Дм. Горчакова). Вряд ли был в его жизни момент большего в собственных глазах позора. И это было величайшее благодеяние.

Несмотря на отпирательства, от него не отставали, ему не верили. В конце концов он написал лично царю — ему признаваться было не так унижительно: то был царь. Царь его простил и никому ничего не сказал. "Дело это мне подробно известно и совершенно кончено" — так завершил он следствие.

Дело было кончено — но не для автора. Момент и обстоятельства встречи с кощунственной выходкой молодости не могли быть расценены автором стихотворения "Дар напрасный, дар случайный" как чистая случайность: на "странные сближения" слух у него был безукоризненный, "случай" же, как он скажет позже, есть "мощное, мгновенное орудие Провидения".

Как бы то ни было, к периоду следственного дела о "Гавриилиаде" относится (конец августа — первая половина сентября) работа над вещью, связанной неразрывно как с "Даром...", так и с "Пророком", — и может быть, столь же этапной, как "Пророк".

Продолжение в следующих номерах